

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО?

Шредингер Э.

1960.

Глава первая. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ДУАЛИЗМА МЫШЛЕНИЯ И БЫТИЯ ИЛИ ДУХА И МАТЕРИИ

Скорее всего, по причинам историческим — язык, школа — обычному мышлению простого современного человека ближе всего дуалистическое понимание отношения духа и материи (англ. mind and matter). Он не затрудняется представлять себе, что мы по нашему желанию приводим в движение сперва части нашего тела, а затем с их помощью и другие материальные тела; что вещи, приходящие в соприкосновение с нашим телом, создают посредством нервной проводимости осязательные ощущения и что таким же образом колебания воздуха, достигая уха, создают звук, а свет, попадающий в глаз, создает зрительное ощущение, нечто подобное справедливо по отношению к обонянию, осязанию и теплоощущениям. При тщательном обдумывании мы не должны, однако, с полной готовностью допускать взаимодействие между событиями из двух совершенно различных областей (психической и физической), если считать, что эти области действительно различны. Дело в том, что одна (причинное предопределение материальных процессов посредством духа) по необходимости должна мешать развитию материальных процессов по собственным законам, в то время как другая (причинное влияние на дух тел или им подобные влияния, например света), полностью закрыта для нашего понимания. Короче говоря, мы совершенно не понимаем, как материальные процессы должны превращаться в восприятия или мысли, хотя вопреки Дюбуа-Раймону об этом болтают во всех учебниках.

Избежать этих несуразностей можно, только отказавшись от дуализма. Последнее предлагалось уже неоднократно, причем знаменательным образом на материалистической основе. Первая попытка такого рода была совершенно наивной и принадлежала Демокриту, который представлял себе душу, составленной из атомов, однако особо тонких, гладких, круглых и потому легкоподвижных. Это не осталось без ответного удара, как показывает знаменитый фрагмент Дильса 125, обнаруженный в 1900 г. в рукописях Галена. Эпикур и Лукреций сделали из этого же дилеммы, но с очень ценным

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО?

Шредингер Э.

1960.

Глава первая. ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ДУАЛИЗМА
МЫШЛЕНИЯ И БЫТИЯ ИЛИ
ДУХА И МАТЕРИИ

Скорее всего, по причинам
историческим — язык, школа —
обычному мышлению простого

современного человека ближе всего дуалистическое понимание отношения духа и материи (англ. mind and matter). Он не затрудняется представлять себе, что мы по нашему желанию приводим в движение сперва части нашего тела, а затем с их помощью и другие материальные тела; что вещи, приходящие в соприкосновение с нашим телом, создают посредством нервной проводимости осязательные ощущения и что таким же образом колебания воздуха, достигая уха, создают звук, а свет, попадающий в глаз, создает зрительное

ощущение, нечто подобное справедливо по отношению к обонянию, осязанию и теплоощущениям. При тщательном обдумывании мы не должны, однако, с полной готовностью допускать взаимодействие между событиями из двух совершенно различных областей (психической и физической), если считать, что эти области действительно различны. Дело в том, что одна (причинное предопределение материальных процессов посредством духа) по необходимости должна мешать развитию материальных процессов

по собственным законам, в то время как другая (причинное влияние на дух тел или им подобные влияния, например света), полностью закрыта для нашего понимания. Короче говоря, мы совершенно не понимаем, как материальные процессы должны превращаться в восприятия или мысли, хотя вопреки Дюбуа-Раймону об этом болтают во всех учебниках.

Избежать этих несуразностей можно, только отказавшись от дуализма. Последнее предлагалось уже неоднократно, причем

знаменательным образом на материалистической основе. Первая попытка такого рода была совершенно наивной и принадлежала Демокриту, который представлял себе душу, составленной из атомов, однако особо тонких, гладких, круглых и потому легкоподвижных. Это не осталось без ответного удара, как показывает знаменитый фрагмент Дильса 125, обнаруженный в 1900 г. в рукописях Галена. Эпикур и Лукреций следовали этим же путем, но с очень ценным «усовершенствованием», приписываемым чаще первому.

Это так называемые «приступы», призванные, согласно признанию автора, объяснить наличие у людей и животных свободы воли, для которой в самое последнее время была обнаружена достойная внимания параллель. Малоизвинительной находят также монистическую попытку Геккеля и его школы, бросающую даже тень и на их научные заслуги. Объединение Спинозой духа и материи в единой субстанции, которую он называет Богом, с двумя известными нам атрибутами, протяженностью и мышлением, избежало все-таки

крупнейшего промаха, когда определенно отклоняется их (духа и материи) взаимодействие, однако при всем глубочайшем уважении к этому исключительно симпатичному, совершенно искреннему и оригинальному мыслителю, его концепция представляется нам преимущественно формальной. Бертран Рассел в своем «The Analysis of Mind» сделал многообещающее добавление, в котором он составляет душевные состояния и тело из элементов одного рода, различающихся лишь по способам взаимной связи.

Конструируемая нами далее модель находится ближе всего к этой идее. Мне представляется, однако, что Рассел слишком уж поспешно отступил от безусловного, но кажущегося обыденному сознанию совершенно чужеродным, требования фундаментального отречения от понятия реального внешнего мира. Последний вскоре появляется у него снова и лишь для того, по-видимому, чтобы не принимать в качестве чуда широкую сферу перекрытия различных областей персонального опыта.

Но все это не помогает. Если решиться иметь только одну область, то, поскольку психическое присутствует во всяком случае, она должна быть психической, и предположению о взаимодействии двух областей придается нечто магически-призрачное или, лучше сказать, что через одно лишь такое предположение обе они объединяются в одну-единственную.

После только что упомянутого знаменательного начала (The

Analysis of Mind, Lecture V, 4 Aufl, 1933), согласно которому психическое и физическое состоят из одинаковых элементов, только в различных связях, в то время как сами элементы нельзя считать ни физическими, ни психическими, удивительно видеть (Human Knowledge, its Scope and Limits, Part VI, (ap. VI, p. 480, 1948[16]) великого мыслителя в 1948 г. снова в рядах тех, кто обычно сообщает нам с тихой усмешкой, что существуют, разумеется, философы, необоснованно утверждающие, что они сомневаются в реальном

существовании внешнего мира. При этом Рассел добавляет с иронией, напоминая Irish Bull[17], хотя, по его мнению, такая точка зрения и не может быть опровергнута, но и не может быть принята всерьез даже теми, кто ее придерживается. Мне кажется, что эти два высказывания противоречат друг другу, что невозможно предполагать справедливость обоих одновременно. При этом речь идет не только о солипсизме и лейбницевой монадологии, которые приведены, конечно, в качестве примеров, но говорится

это и для того, чтобы, напомнив об этих двух наиболее слабых формах монистического (или квазимонистического) идеализма, поставить вне сомнения действие неотразимой силы убеждения, непревзойденного оратора.

По-моему, желание вывести всю действительность из душевных переживаний имеет гораздо более глубокие основания, чем упрямое стремление отрицать представление о реальном внешнем мире, без которого мы в практической жизни не можем ступить и шагу. Это представление

само по себе есть мысленное построение и ни в коем случае не должно оспариваться. Просто мы в первую очередь подвергаем критике утверждение, согласно которому, помимо этого представления или наряду с ним, должен существовать объект, представлением которого оно является и который это представление определяет. Потому что это, как мне кажется, совершенно излишнее удвоение, которое грешит против лезвия Оккама. Далее, мы не знаем, что должно означать слово «существовать», поскольку это

такое понятие, которое для представления самого себя не может быть использовано, потому что оно, пусть и весьма сложным образом, строится как просто данное. Наконец, отношение причина-следствие между тем «существующим» нечто и миром-представлением, построенным как просто данное, было бы совершенно новым и нуждалось бы в толковании, которое не имело бы ничего общего с причинной связью внутри представляемого мира; этот последний, сверх того что мы уже знаем со времен Джорджа Беркли и еще яснее

Дэвида Юма, не столь непосредственно доступен наблюдению и значительно более проблематичен, чем как, по-видимому, считали следовавшие за Юмом мыслители и сам великий Иммануил Кант.

Это был первый пункт. Второй, не менее важный, следующий. Представление, о котором идет речь и отрицать которое мы не предполагаем, включает также и мое собственное тело, несмотря на словечко «внешний», которое обычно включается в его обозначение. Отсюда видно, что не

следует представления и мысли одного человека помещать в его голову, так как тем самым допускают, наряду со многим другим, что весь внешний мир сам содержится в своей части, что, конечно, было бы ни с чем несообразно даже в том случае, если бы такая голова существовала в единственном экземпляре. Обдумаем следующее весьма общее положение вещей, которое я наглядности ради поясню на конкретном примере. Я сижу на скамейке в парке и размышляю. Вдруг передо мной появляется некто, хватает меня за левое бедро

выше колена и сжимает с умеренной силой, что не причиняет боли, но достаточно неприятно. Я смотрю не друг ли это, приветствующий меня такой шуткой, вижу, однако, что это озорной малый с отталкивающей физиономией. Я размышляю одно мгновение — уместна ли пощечина, однако оставляю эту мысль, хватаю малого за воротник и веду его к шуцману, который как раз в эту минуту появляется в конце аллеи.

Большинство из нас придерживаются того мнения, что

все это происшествие может быть причинно прослежено в рамках представления о внешнем мире и, если бы последнее было достаточно совершенно, могло бы быть понято на этой основе. Это значит, что его можно было бы свести к общим установленным закономерностям, без того чтобы принимать во внимание ощущения и мысли, которые я имел в течение этой небольшой сцены. Мы не думаем, что некоторое тело внешнего мира, именно тот озорник, вызывает в моей душе посредством представления о нервной проводимости ощущение

сжимания, что затем указанная душа по получении дальнейшей информации из внешнего мира и краткого размышления приказывает своей руке схватить это тело внешнего мира за шиворот и отвести его к появившемуся в конце аллеи полицейскому. Это представление не следует разделять. Разумнее все-таки считать предрассудком такое, так сказать, естественное объяснение в рамках представления о внешнем мире, намеченное в начале этого абзаца.

Но даже тому, кто его не разделяет, следует признать, что оно заслуживает внимания как допустимая эвристическая гипотеза. Многие считают ее простейшей и потому, снова по принципу бритвы, необходимой, поскольку именно о взаимодействии между духом и телом совершенно ничего неизвестно ни при чувственном восприятии, ни при произвольных движениях. Но тогда возникает опасность, что ряд психических переживаний сведется к явлению всего лишь сопутствующему физическим событиям, без

которого последние будут происходить точно так же, как и с ним, и они не нуждаются более в психических наблюдателях. Опасность, что существенное для нас превратится в излишнюю и второстепенную вещь, без которой вполне можно обойтись, так что становится совершенно непонятно, для чего она, собственно говоря, нужна, эта опасность, утверждаю я, сохраняется и в том случае, когда забывают о том, что упомянутая выше причинная связь включена в представление о внешнем мире, когда настаивают на том, чтобы переместить ее в

«существующий» и покоящийся в самом себе внешний мир, независимый от наших психических переживаний. Мне кажется, что приведенные выше рассуждения приводят нас к довольно-таки парадоксальному результату: условием того, чтобы мы, не запутавшись в явной бессмыслице, могли представлять себе события, происходящие в теле живущего, чувствующего и мыслящего существа естественным образом, т. е. совершенно так, как они разыгрываются в неодушевленном теле — без направляющего

демона, без погрешности против закона энтропии, без энтелехии, без *vis viva*[18] или эквивалентной чепухи — это условие, утверждаю я, заключается в том, чтобы мы представляли себе все события происходящими в нашем представлении мира, без того чтобы подсовывать под него материальный субстрат как объект, представлением о котором он является и который, как покажет дальнейшее исследование, действительно совершенно излишен.

Глава вторая. МЫ УБЕЖДАЕМСЯ В ОБЩНОСТИ МИРА ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ЯЗЫКОВОМУ ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Через восприятия моими
органами чувств я достигаю
знания о внешнем мире. Только
через них втекает это знание. Они
— строительный материал, из
которого оно создается. То же
самое, помимо меня, относится и
к любому другому. Возникающие
таким образом миры, когда мы
оглядываем их в .различных

перспективах, в колоссальной степени одни и те же, так что мы в целом употребляем единственный мир.

Поскольку, однако, мир сознания каждого индивидуума глубоко личный и никому другому непосредственно недоступен, то это совпадение удивительно. Многим хотелось бы устранить или скрыть это удивление предположением, что совпадение сводится к существованию действительного мира тел, являющегося причиной чувственного восприятия и

создающего у каждого примерно одно и то же впечатление.

Но такое предположение совершенно ничего не объясняет, а лишь выражает другими словами сказанное выше и является, напротив, совершенно бесполезным усложнением понимания. Далеко идущее соответствие двух наблюдаемых миров, назовем их B и $B1$, должно объясняться с этой точки зрения посредством некоторого рода согласования с реальным миром R , т. е. B с R и $B1$ с R . Кто так думает, забывают, что R не наблюдается и

что никто не воспринимает два мира, один наблюдаемый, а другой «действительный». Никто не в состоянии установить какое-либо сходство этих структур. Может быть R , хотя он ненаблюдаем, является допустимой гипотезой? В предыдущей главе я пытался показать, как велика, на мой взгляд, была бы цена такой гипотезы. Во всяком случае, если даже и допустить ее, она все равно будет работать вхолостую. Согласно этой гипотезе, два чувственно познанных мира, мой и твой, должны согласовываться потому, что один и тот же чекан

формирует их из одного и того же материала одинаковым образом (своеобразное трансфинитное заключение по индукции *suī generis*[19]). С эмпирической точки зрения, однако, этот ключевой вопрос следует формулировать совершенно иначе: как у нас обоих возникает знание об этом согласовании? При такой постановке вопроса гипотеза о реальном внешнем мире оказывается совершенно бесполезной. Но это знание уже есть, оно действительно существует, оно так же действительно, как и личные

миры. Как оно возникает, хотели бы мы знать. Это и есть истинная проблема: как мы узнаем о приблизительной согласованности этих двух личных миров, несмотря на то, что они все-таки, как было признано, являются личными и вечно личными останутся? Прямое сравнение ничего не дает потому, что оно невозможно. Совершенно необходимо, чтобы чудовищность этого положения дел сначала повергла бы нас в страх и ужас, если бы мы оказались вынужденными снизить к обсуждавшимся выше

несовершенным попыткам
объяснить его в какой-то степени.

Иной, возможно, скажет в раздражении: глупости, разве не существует строгой зависимости, вплоть до многих подробностей, касающихся в известной степени внешнего мира, между тем, что случается в одной и тем, что в другой сферах сознания? Гм, гм, кто же должен констатировать эту зависимость?

То, посредством чего она констатируется, суть язык, включая

мимику, жестикуляцию, осязание других тел, указывание пальцем и тому подобное, хотя это и не нарушает абсолютную изоляцию сфер сознания. Это выдающееся значение языка, всеобщего языка, уже было разъяснено Людвигом Витгенштейном. Далее, быть может, ожидают услышать затасканный анекдот о заключении по аналогии с некоторой другой личностью, но эта история не более, чем полуправда, так как младенец, для которого улыбка матери — все, не выводит никаких заключений по аналогии, когда мать пошлепывает

его в знак дружеского понимания. Справедливо, конечно, что лишь ничтожная часть того, что один из нас называет своей картиной мира, восходит к нашему собственному чувственному опыту. Несравненно большая часть восходит к чужому опыту и к сообщениям, причем часто львиная его доля падает не на сообщения живых людей, а на законсервированные в рукописях и книгах языковые сообщения.

Если и не единственная, то наверняка труднейшая задача теории познания заключается в том, чтобы понять на основе

первых принципов (начал), что взаимное понимание может культивироваться этим путем вообще без того, чтобы хотя бы в ничтожной степени (поскольку это невозможно) были нарушены часто упоминавшиеся выше личный характер сфер сознания и их разделённость. Если бы мы когда-нибудь и поняли это, то желательно было бы все-таки составить себе некоторую картину возникновения действительного языка и его дальнейшего развития до аттического совершенства, на частности картины можно было бы на первых порах не обращать

внимания. Большую и важную роль в установлении первоначального взаимопонимания могла бы играть интроекция воли в чужую личность, поскольку язык начинается, конечно, в семье, и не с сообщений, а с более или менее сильного выражения желаний — интроекция, просьба, приказ, предостережение, угроза и т. д.

Я хотел бы более детально остановиться на причинах, по которым мне представляется неправильным говорить, что мы открываем чужую личность или

пусть всего лишь догадываемся о ее существовании исключительно по аналогии, т. е. по сходству образа и обстоятельств. Ребенок видит личностей не только в своей матери и в других людях своего окружения, но и в животных, которые связаны с ним обоюдной дружбой и даже в самих предметах своего окружения — он бьет край стола, причинивший ему боль! При этом вряд ли играет роль сходство в образе и обстоятельствах. Вянувший в вазе цветок причиняет ему боль, правда, и нам тоже. Поэтому, быть может, скорее справедливо противоположное

представление: человеку
свойственно все свое окружение
рассматривать как живое,
обладающее волей и сознательно
чувствующее. Лишь постепенно —
как учит нас история и
предыстория — отделяет он не по-
настоящему чувствующее, не по-
настоящему живое и заходит в
этом направлении немного
дальше, чем следует, особенно
если он, подобно Декарту, склонен
переоценивать свои умственные
способности. Не только дикарь
одушевляет грозу, как свой фетиш.
Образованному греку тоже

мерещатся сказочные существа в природе:

«Здесь, на высях, жили ореады,

Этот лес был сенью для дриад,

Там из урны молодой наяды

Бил серебристый водопад».

Гром и молния, в их каждый раз
по-новому воспринимаемом
величии, были для них
волеизъявлением Зевса. Старейшая

и в некотором смысле наиболее трезвая древнегреческая ионийская школа получила название гилозоистов, потому что вся материя считалась ими живой, что, разумеется, значительно слабее, нежели считать ее одухотворенной.

Каким же образом следовало бы безошибочно отличать по-настоящему чувствующее живое от неживого? Если бы мы знали разумный ответ на этот вопрос, то мы имели бы ключ к решению ранее поставленной проблемы: как, вопреки твердо

удерживаемому разделению сфер сознания или личному их характеру, герметической изоляции их относительно друг друга, могло случиться, что между ними, тем не менее, возникает согласование, которое впоследствии достигает удивительного совершенства и законченности, встречающееся у умственно развитых людей. На первый взгляд это кажется столь же невозможным, как расшифровка египетских надписей до находки розетского камня.

Говорят: живое то, что способно самостоятельно двигаться. Это определение не просто бесполезно для нас, но именно оно соблазнило Платона и Аристотеля считать звезды божествами, и Анаксагор, не разделявший это мнение, мог бы жестоко поплатиться, если бы его друг Перикл не извлек его из заточения и не помог бы ему вовремя эмигрировать. Известно же, что в прославленной свободной республике Афины все люди, вплоть до рабов, выполнявших необходимые для государства работы, были равны, и, тем не менее, этот образец

республики был для людей
глубокомысленных и говоривших
то, что они думают, не столь уж
безопасен. Правда, Платон к
таковым не относился, Аристотель
же умер в ссылке на острове. Но
это между прочим.

По-моему, дело обстоит
следующим образом: сначала
человек познает собственное тело
как единственного представителя
внешнего мира. Над движениями
этого тела он господствует или,
если угодно, наступление которых
он предвидит, поскольку он
заранее их желает, и которые

протекают примерно так, как желает он. Живым и чувствующим представляется ему и другое тело, когда оно шлепает его своим произвольно движущимся корпусом, а именно рукой, регулярно делает непредсказуемые движения, т. е. не только те, которые известны по другим случаям и привычны по его собственному в них участию. Например, отодвигание в сторону, снятие со стола, подбрасывание в воздух и т. д. Необходимо, однако, тотчас же добавить, что испытание «на живое» производится не только по пошлёпыванию, но и

некоторыми иными способами. Вот наиболее употребительные: двигают рукой или удерживаемым ею предметом перед глазами исследуемого объекта (если можно предположить, что он имеет глаза), зовут его криком или свистом. При этом в каждом случае реакция на живое может быть шепотом, изменением цвета или положения корпуса и т. д.

Все сказанное только что может показаться настолько простым и даже тривиальным, что мне представляется важным осознать следующее: именно отсюда и

проистекает понимаемое в самом широком смысле языковое взаимопонимание с другим «Я» вопреки фундаментальному принципу непреодолимости границ собственного сознания. Это происходит следующим образом. Ради упрощения мы будем пока что иметь в виду важнейший для нас случай, когда другое тело является туловищем, свойства которого очень сходны с нашими собственными, т. е. прежде всего двух людей. В подобных случаях можно констатировать повторяющуюся синхронность одного или

нескольких движений (или нечто подобное, например, крики, свист) собственного тела с определенными движениями или чем-то подобным чужого тела, а может быть, еще и с каким-нибудь третьим событием. При этом играет существенную роль так называемый инстинкт подражания, который мы постоянно наблюдаем у обезьян, маленьких детей и, пожалуй, у взрослых людей тоже: «поступай так, как поступают другие». Тривиальнейший пример — ежегодно меняющаяся мода одежды или военной окраски у

индейских племен, в более же длительные периоды — изменение разговорной манеры, что может очень существенно влиять на вековые изменения языка. Эту склонность к подражанию здесь нет нужды обосновывать. Она легко приводит к тому, что два или две группы синхронных движений — одно собственного туловища, второе чужого — становятся очень похожими друг на друга после возбуждения внимания одного из них прикосновением или возбуждения внимания обоих третьим предметом (собакой), когда они оба одновременно

указывают на него пальцем и кричат «во-во».

В первую очередь несколько относящихся сюда замечаний. Осознавание синхронности имеет фундаментальное значение при ориентировании собственного тела и его положения относительно окружения; через синхронность с увиденным и осязаемым, в крайнем случае с услышанным, создается единое пространственное представление, в которое погружаются части моего собственного тела и составные части окружения.

Излишне входить в частности, но я хотел бы только извиниться за то, что сохраняю термин «окружение», хотя после причисления к нему собственного тела уже не остается ничего, такого, что «окружается» (даже «окружающий мир» было бы не намного лучше). Во-вторых, слова вроде «во-во» и многие другие слова детского языка, затем слова примитивного языка типа бери-бери, там-там, це-це и т. д., может быть даже редупликация индоевропейских глаголов, затем удовольствие от аллитерации, ассонанса и рифмы не оставляют,

кажется мне, сомнений в наличии склонности к повторению звуков и к произнесению их для себя именно с этой целью. В-третьих, по-видимому, успешный метод Берлица обучения языкам подходит, как я слышал, очень близко к бегло намеченной выше схеме и исключает необходимость для учителя и учеников опираться на совместное знание какого-нибудь другого языка. В-четвертых, ребенок выучивает свой первый в жизни язык согласно именно методу Берлица чаще всего от матери, старших братьев и сестер.

Как из этой изначальной склонности к подражанию постепенно в течение многих поколений возникает все более тонко нюансированное взаимопонимание, вряд ли можно проследить по непосредственной истории языка потому, что последняя, естественно, может возникнуть лишь по происшествии очень длительного времени, отделяющего ту эпоху, когда мы могли бы получить разъяснение о первых началах его возникновения. Аналогичным образом обстоит дело и с историей человеческой культуры вообще. Но подобно тому,

как мы узнаем, например, в жителях Тасмании представителей давно уже прошедшего каменного века, так и языки, сильно различающиеся по степени развития, способны разъяснить этнографам очень многое.

В тех немногих языках, о которых я вообще кое-что, хотя бы понаслышке, знаю, больше всего меня поражает, что такие почтенные древние языки, как санскрит, греческий, арабский и еврейский, имеют далеко не самую простую, а, напротив, наиболее сложную «грамматику». В то же

время безусловно наиболее развитый английский обладает настолько ужасающе малым количеством собственно правил, что, с одной стороны, любой необразованный иностранец легко его понимает и выучивается говорить на ломаном, в то время как, с другой стороны, только великие умы собственной нации, как сэр Чарльз Шеррингтон, Бертран Рассел, Гильберт Муррей и др. могут изъясняться на нем ясно и понятно к великой радости читателей и слушателей.

К тому же наилучший способ ознакомления с процессом зарождения языка, а именно по наблюдению за тем, как ребенок выучивает свой первый в жизни язык от матери, братьев и сестер, подобен тому как наблюдение за развитием эмбриона из оплодотворенного яйца дает нам определенное, хотя ни в коем случае не точное представление о филогенетической эволюции рода. Школу Берлица для взрослых можно было бы рассматривать в качестве эксперимента в этой области подобно тому, как выведение новых пород собак,

голубей, лошадей или новых сортов тюльпанов постоянно приводилось самим Дарвином в качестве наглядных примеров его принципа племенного отбора. Ученик школы Берлица, однако, уже не чистый лист бумаги. Он знает, что живет в одном мире с соучениками и учителем, да и с остальными людьми, он даже выучил, наверное, не менее одного языка или, может быть, чувствует, по меньшей мере, что именно имеет здесь существенное значение. К тому же язык, который он должен выучить, имеет в большинстве случаев, по крайней

мере в основном, ту же самую грамматику, если даже речь идет о венгерском и арабском или арабском и шведском. Бертран Рассел однажды указал, как мне кажется, с полным правом на опасность философских предрассудков, возникающих в связи с тем, что для всех сформировавшихся языков характерна общая конструкция предложений, расчленение на подлежащее и сказуемое, прямые и не прямые дополнения и т. д. Не только тяжело умирающая вера в субстанцию и акциденцию имеет здесь свои корни, то же

происхождение имеет деление на субъект и объект при наблюдении природных явлений, окутавшееся в последнее десятилетие ореолом таинственности или, в еще большей степени, их загадочная, выдающаяся за якобы новооткрытую, неразделимость, далее, проснувшаяся к новой жизни тождественность неразличимого, которая в действительности должна охватывать гораздо более глубоко лежащий принцип Паули, впрочем, и его следует рассматривать в качестве приближения к относительно более общему

предложению, выдвинутому
Дираком.

Если бы я вздумал предаваться
здесь дилетантским фантазиям о
начале языкового развития, т. е. о
постепенном совершенствовании
взаимопонимания, то это, скорее
всего, не послужило бы никакой
разумной цели. Тем не менее я не
могу обойти молчанием одно
предположение, с которым
познакомился по очень краткому
сообщению и которое произвело
на меня очень сильное
впечатление. К сожалению, я не
могу указать ни автора, ни

издание, так как мое чтение во время многомесячной болезни было беспорядочным и я по большей части не делал никаких заметок о прочитанном. Но это несомненно английское издание, может Science News или The Listener. Мысль заключалась в том, что древнейшие языковые штампы восходят к невольному стремлению подражать положениями языка, челюстей и т. д. внешним событиям из окружения и при установленных или движущихся таким образом языковых органах издавать звуки. Это сильное обобщение того, что

филологи уже давно и в полном согласии обозначают термином «звукоподражательное слово» (немецкие sausen, zischen, heulen[20], еврейские beelzeboul— бог мух, итальянское zanzara— комар). Обобщение заключается в том, что попытка подражания не ограничивается лишь шорохами, но распространяется и на другие характеристики события: поднимание, вторжение, установка чего-либо поперек, устранение помехи, неожиданность или плавная медлительность. При этом можно легко обмануться. Во многих случаях кажется,

например, что даже живые слова, из которых почти все имеют за собой длительное историческое развитие, подходят под это понятие: пары слов *fest* и *loose*[21], *starr* и *weich*[22], звучание которых при перетасовке менее соответствовало бы их смыслу; то же самое относится к английским, почти интернациональным словам *stop* и *go*, причем в первом гласная произносится кратко, во втором же (по правилам дорожного движения — зеленый цвет) — это несколько растянутый дифтонг.

Как бы то ни было, мне во всяком случае кажется, что стремление к уподоблению собственных звуков звукам, услышанным от других или связанных с другими одновременно наблюдаемыми событиями, образует основу взаимного понимания и понимания того, что все мы живем в одном и том же мире. Мы видим себя в других подобно тому, как видим себя в зеркале при некотором, однако, существенном обобщении, так как обычное отражение, хотя и выполняет те же самые движения, что и оригинал,

но оно не модулирует голосовых оттенков, до него нельзя дотронуться. Кроме того, это обобщенное отражение на ощупь теплое, как и собственное тело. Вот пример: заяц выпрыгивает из куста и бросается бежать; некто и я, мы оба, поднимаем указующе руку в направлении движущегося видения и, вероятно, привыкли уже издавать при этом один и тот же звук «ву», причем я совершенно уверен, что это «ву» существует не только для меня, но и для другого; на медведя, гориллу мы обращаем свое и других внимание посредством иных слогов. То, что

при этом память — это «около» и «на» собственной личности — играет решающую роль, совершенно понятно, но сейчас не следует анализировать это более детально. Тем, что я свожу возникновение чувства общности преимущественно к языку, я вовсе не хочу создавать впечатление, что воробьи на «воробьином дереве» или улетающие в дальние края перелетные птицы, пчелы, домашняя птица на крестьянском дворе... еще не усвоили, что они живут в одном и том же мире. Напротив, в этом отношении они далеко опередили некоторых

оригиналов нашего вида и давно уже прошли те времена, когда человек, желавший, чтобы его восприняли серьезно, мог бы присоединиться к высокомерному утверждению: только мы, люди, владеем языком.

Вначале мы на мгновение усомнились в возможности установления далеко распространяющегося сходства, почти тождества определенной части нашей жизни (так называемого внешнего). Эти сомнения возникли ввиду полного разделения сфер сознания

различных индивидуумов, взаимного исключения этих сфер. Поскольку же именно язык делает нас обладателями такого средства взаимопонимания, мы склонились, напротив, к слишком высокой оценке точности этого понимания и забыли о его непреодолимых границах. Вот несколько примеров. На первой странице очень ценимой мною грамматики нововерхненемецкого языка я прочитал вчера в параграфе первом, где речь идет о понятии и сущности языка, следующее предложение: слова состоят из ...артикулированных звуков,

посредством которых названное представление обозначается говорящим и воспринимается слушающим. Я не мог удержаться от того, чтобы не пометить на полях: не всегда. При этом я думал, впрочем, не только о несколько суженной формулировке, не охватывающей слова «потому что», «хотя», «вопреки», «без» и т. д. На следующей странице во втором параграфе, посвященном возникновению языка, я написал на полях те же самые слова, когда читал лаконичное сообщение: мышление является, таким

образом, основой и предварительным условием языка (Friedrich Blatz. Karlsruhe, 1895). Больцман в начале статьи, предмет которой имеет близкое родство с нашим, рассказывает, как однажды он в сопровождении брата потребовал в школьной библиотеке философскую книгу (он вспоминает, что это был Дэвид Юм) и был крайне разочарован, узнав, что она имеется только на английском, которого он не знал. В то время между братьями возникали споры, в которых идеал Людвига, что каждое понятие при его введении должно и может быть

точно определено, объявлялся его братом невыполнимым. Этот идеал, впрочем, несмотря на описанное ниже фиаско, был всегда в центре внимания великого физика, и он старался следовать ему настолько близко, насколько это было вообще возможно. В тот момент, однако, разочарование Людвиг вызвало со стороны его находчивого брата глубокомысленную насмешку:

«Если в этом труде говорится о том, что ты от него ожидаешь, то язык не имеет значения, так как тогда там каждое слово уже точно

определено еще до его употребления». Впрочем, Больцман или ошибся в авторе (Юм), или был кем-то введен в заблуждение, потому что ни среди глубочайших мыслителей, к которым этот англичанин несомненно принадлежал, ни вообще среди тех более старых, которых сегодня еще охотно читают, мне не встретилось, пожалуй, никого, кто так легко и необременительно попусту резонерствует — я чуть было не сказал: попусту болтает — и именно поэтому его хорошо понимают, как этот Дэвид Юм. Он

по-детски верил в то, что слова сами себя разъяснят и без обременительных и трудно воспринимаемых определений в случаях даже более хитроумных, чем повседневные, если только связать их надлежащим образом. Иначе говоря, он считал, что от синтаксиса зависит больше, чем от словарного запаса, или по Гете:

И если то, что говорится, дельно,—

Играть словами разве не бесцельно?

Когда есть ум и толк в словах у нас,

Речь хороша и без прикрас.

Мой друг, профессор Джон Синдж, математик, превосходный собеседник и шутник, в книжечке, предназначенной для широкого круга читателей (Science:

Sence and Nonsense, London, Jonatan Cape, 1951) в первой главе, озаглавленной им Vicious Circles[23], обратил так

называемый *circulus vitiosis*[24] в легкую насмешку над одноязычной лексикой, например *Concise Oxford Dictionary*, большую пользу которой для изучающих язык он, конечно, не имел намерения ставить тем самым под сомнение. В этом словаре находят какое-нибудь слово. Оно разъясняется тремя или пятью словами того же языка. Каждое из последних снова находят в том же самом словаре и так далее. Поскольку словарь содержит конечное число слов, то рано или поздно одно из слов повторится. Практически это случается чаще всего после

небольшого числа ходов. Тем самым уже первое объяснение слова оказывается логически ошибочным, т. е. каждая строчка очень ценного в целом тома порочна с точки зрения логики. Употребление другого языка или, даже страшно сказать, иллюстраций, запрещено правилами игры. Другой шутник продолжил эту игру по словарю испанской академии и превратил в шутку ее тихую серьезность, когда при объяснении слова perro (собака) для отличия от другого очень распространенного животного (кошка) сослался на

привычку взрослых самцов, которая в австрийском обиходном словаре обозначается «Нахелheben[25]. Шутка преподносится с бородатой серьезностью: «...patas posteriores, una de las cuales suele alzar el macho para orinar"[26].

Глава третья. О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Описанный выше может быть слишком широко и с излишним количеством примеров способ,

посредством которого приходят к взаимному пониманию и к пониманию того, «что все мы живем в одном мире», должны будут признать и те, кто по упрямой привычке желают говорить об этом общем мире как о «действительном». Я не буду, во всяком случае пока, спорить с теми, кто признается мне в этом. Действительность, существование и т. д.— пустые слова. Для меня важно лишь следующее: именно тем, кому представляется необходимым сводить далеко идущую общность части наших переживаний, которую мы

называем внешней, к тому, что один и тот же чекан на однородных «пластических поверхностях», скорее всего, будет создавать примерно одинаковые структуры, не следует думать, будто и это тоже объясняет или гарантирует то, что мы обнаруживаем эту общность. Если принять реальный внешний мир за действующую причину наших чувственных восприятий и считать затем и его также подверженным влиянию наших волевых действий, чего я делать не рекомендую, то возникает опасность, что согласно этому как будто бы очевидному

объяснению общности следует считать само собой разумеющимися и совершенными также и наши знания об этом, и нет более нужды задумываться ни об их происхождении, ни о степени совершенства. А это уже не словесный спор, а просто ложный вывод.

Не раз говорилось уже, что наука о природе никогда не достигает своей цели, так как ни о какой теории нельзя спросить, верна ли она, но только в каком направлении будет она развиваться, что в погоне за

уносящимся идеалом — не в достижении его счастье творческой работы (Лессинг). Но и в так называемых точных науках господствует по большей части мысль, что и здесь законченное воссоздание природы в мысленных образах никогда не достигается. То, что мы узнаем здесь и утверждаем, есть нечто большее: даже одно лишь совершенно надежное и недвусмысленное взаимопонимание между людьми невозможно; это цель, к которой мы все ближе и ближе подходим, однако никогда не сможем её достигнуть. Уже по одной этой

причине точное знание в полном смысле слова невозможно. Очень подходящий, только может быть, слишком слабый пример тому, что мы здесь имеем в виду, можно найти в существовании границ, поставленных точности перевода прозы или простых рифмованных стихов. В таких важных случаях, как шекспировские драмы или библия, поколения трудились над переводами и ни одно не было полностью удовлетворено достигнутым до него. Но это, разумеется, связано частично с постоянным и сравнительно быстрым изменением

собственного языка, на который делается перевод. Так, например, английские слова bath и bathe означали, когда я был ребенком, ванну и купаться, сегодня же каждое из них обозначает оба понятия, но первое относится к купанью в ванной, а второе — к купанью в бассейне или реке. Немецкий, на котором говорили и писали тысячу лет, именно немецкий, а не готический, теперь невозможно понять без словаря или переложения на новый верхненемецкий. Я сказал выше: подходящий только может быть слишком слабый пример. Почему

слишком слабый? Потому что, как уже отмечалось однажды, большинство языков, которыми мы интересуемся, имеют все же не очень сходную структуру. Но вот однажды получил я два различных немецких перевода «Дао-де-Цзинь» и, как мне вспоминается, только изредка, по отдельным листам, можно было понять, что это перевод одной и той же китайской книжечки. Уменьшительное в данном случае не означает умаления. Краткость знаменитого текста одному остряку дала повод для мнимого изумления: Лао-цзы, по его

мнению, написал ее в ожидании таможенного досмотра.

Почти непреодолимый барьер для взаимного понимания даже на высшей ступени развития существует для различных качеств чувственного восприятия. Это ни в коем случае не самый важный пункт, кроме того, он обсуждался уже достаточно часто, и поэтому не стоит долго останавливаться на нем. Часто спрашивают, например: достоверно ли, что ты видишь зелень этой травы точно так же, как и я? Этот вопрос не имеет ответа, можно лишь спросить,

имеет ли он смысл. Дихроматы (встречаются реже, чем слепые по цвету или перепутывающие красное и зеленое) видят солнечный спектр как цветную ленту точно такого же разнообразия, какое нормальный трихромат может создать для себя, когда он смешивает во всевозможных отношениях посредством наложения [27], но не на палитре, два дополнительных цвета, скажем, «А» и «Б», от чистого насыщенного «А» через нейтральный серый до чистого насыщенного «Б». Только что сказанное можно установить

объективно. Как, однако, для дихромата будут выглядеть в спектре крайний для них еще видимый красный и крайний для них еще видимый фиолетовый в сравнении с восприятием цветов нормальными трихроматами естественно совершенно невозможно точно установить. Теоретическое предположение, если таковое можно не считать смешным для чего-то такого, что не может быть принципиально установлено, заключалось в том, что дихромат на длинноволновом (красном) конце видит насыщенный желтый,

насыщенность которого убывает вплоть до нейтрального пункта (серый), а начиная оттуда наблюдается синий с постепенно усиливающимся насыщением. Один молодой человек, который был дихроматом лишь на один глаз, на другой же нормальным трихроматом, что может быть объективно установлено, подтвердил это предположение. Само это подтверждение покоится исключительно на доверии к его сообщению. (NB: если я дважды употребил выражение объективно установить, то и эти установления основываются, конечно, на

высказываниях испытуемых лиц о кажущихся одинаковыми световых смещениях, но в таких случаях можно взять испытуемых лиц под, так сказать, перекрестный допрос, что и делают в каждом отдельном случае, чтобы достигнуть более точных результатов; при этом были обнаружены умышленные ошибки и ошибки, допущенные по небрежности, что и оправдывает обозначение «объективно»).

Поскольку я сам весьма немзыкален, мне следовало бы умолчать о том, как обстоит в этом отношении дело с музыкальными

тонами и шумами. Я думаю, однако, что здесь имеет место довольно полная аналогия. Мы способны при полном согласии диагностировать такие шумы, как лошадиное ржание, падающий дождь, удар по жести или воробьиное чириканье; мы отличаем соло на пианино от соло на виолончели; известно, что у музыкальных людей, слушающих определенную симфонию, возникают сходные душевные переживания, по поводу которых они могут обмениваться мнениями и прийти, по крайней мере до известной степени, к согласию;

лица, обладающие абсолютным слухом, одинаково охарактеризуют определенный тон. Все это, однако, еще не отличает область слухового восприятия от восприятия цветов, вернее сказать, отличает не в том пункте, который интересует нас. Два существенных различия между слухом и зрением, как известно, следующие: человеку, особенно натренированному, удастся весьма детальный анализ отдельного, не обязательного гармонического звука по наличию и громкости обертонов и не имеет места уравнивание звуков, т. е. не удастся

один и тот же звук составить из различных смесей чистых тонов. Один и тот же цвет, напротив, может быть, вообще говоря, неразличимо воспроизведен чрезвычайно большим количеством различных смесей чистых спектральных цветов, и это так называемое «уравнение цветов» играет важную роль при исследовании цветового зрения. Более того, в длинноволновом конце спектра, от красного до зеленого, даже чистые спектральные цвета могут быть заменены смесями двусторонних соседей (например, желтый —

через смесь красного и зеленого), без какого-либо различия для глаза. Это одно из двух значительных различий обеих областей чувств. Второе различие: в качестве, так сказать, компенсации за сравнительно незначительное разнообразие качеств восприятия наш глаз очень отчетливо различает направления на различные источники света. В результате этого возникает резко оконтуренное двумерное зрительное поле, которое затем главным образом посредством зрения двумя глазами и в комбинации с осязанием,

расширяется до действительного
трехмерного зрительного
пространства. В области же звуков
«направленный слух» хотя и не
отсутствует полностью, однако он
рудиментарен по сравнению с
«направленным зрением» и
возможен, как кажется,
преимущественно в результате
совместного действия обеих ушей.
Хотя сейчас это очень мало нас
касается, я не могу отказать себе в
желании обратить внимание на
совершенно иной род зрения у
насекомых, который Карл фон
Фриш открыл нам в гениальных и
неустанных опытах,

проводившихся в течение последних сорока лет преимущественно на пчелах. То, что направленное зрение у насекомых осуществляется совершенно иначе, чем у нас, а именно: посредством так называемых фасеточных глаз, известно давно. Пчелы — трихроматы, как и мы, но их область зрения настолько далеко простирается в ультрафиолетовую область, что они в нашей части спектра могут быть приняты за дихроматов, каковыми мы, собственно говоря, и являемся в длинноволновом диапазоне, т. е. от

красного до зеленого. Чистое желтое играет при этом роль «нейтральной точки». Далее фон Фриш установил, что для пчел важным биологическим средством ориентировки является частичная поляризация света, излучаемого небом, различная для различных частей неба и закономерно, но весьма сложным образом, меняющаяся в течение дня. Мы этого совершенно не замечаем, в то время как пчелы воспринимают эти изменения своими фасеточными глазами. Еще более удивительным показалось мне, что глаза пчелы и мухи могут в

течение одной секунды воспринять
раздельно около двухсот отдельных
впечатлений против не более чем
двадцати у нас. «Неудивительно,—
отмечает Фриш,— что в
большинстве случаев муха
избегает наших попыток ее
поймать, если она способна
следить за движениями
приближающейся руки через
такую временную лупу».

Теперь о другом. Несмотря на то
что такой вопрос может
показаться, бессмысленным.
большинство людей не особенно
возмущаются, когда их

спрашивают, могут ли они связать какие-нибудь цвета с пятью простыми гласными, но ассоциации различны. Для меня «а» — ненасыщенное среднесветовое коричневое (детьми мы называли это драп), «е» белое, «і» — интенсивно светящееся синее, «о» — черное, «и» — шоколадно-коричневое. По-моему, эта связь устойчива во времени. Значение этого я не могу указать.

Дискуссия о том, «кто прав», и в этом случае была бы совершенно бессмысленна.

Все сказанное в последних разделах о чувственных восприятиях наиболее удачно суммируется в том смысле, что мы в лучшем случае можем договориться о структуре чувственно воспринимаемого мира, но не о качестве строительных камней, из которых этот мир состоит. К этому следует добавить целый ряд замечаний, которые не кажутся мне несущественными.

Во-первых, что ограничения взаимопонимания, кроющиеся в

речи, ни в коем случае не являются наиболее чувствительными. Не будет большим преувеличением сказать, что это вообще несущественно, если только достигнуто свободное от помех взаимопонимание о структурах, так как именно они действительно интересны как с чисто биологической, так и с теоретико-познавательной точек зрения. И это справедливо главным образом потому — наше второе замечание, что ограничение взаимопонимания выявлением структуры простирается, как я думаю, далеко за пределы

чувственно воспринятого мира и действительно также для всего остального, что мы хотим сообщить друг другу, в особенности для научных и философских мысленных картин более высокого и высшего рода. Пример — но всего лишь пример тому — доставляет нам так называемая аксиоматизация математики. Она состоит в том, что для определенных фундаментальных понятий (например, натуральное число, точка, прямая, плоскость) делается ряд предположений без доказательства: «каждое

натуральное число имеет одно и только одно последующее» или «две различные точки определяют одну и только одну прямую». Из этих аксиом чисто логическим путем должны быть выведены все положения математики или некоторой ее частной области. Эти аксиомы верны независимо от какого-либо наглядного значения основных понятий или от того, оказываются ли эти аксиомы приемлемыми с оглядкой на это значение или нет. Они должны быть только непротиворечивыми, что часто совсем не просто доказать.

Особенно простой и ясный пример аксиоматизации дает проективная геометрия на плоскости. Основные образы здесь — точка и прямая. Основное понятие — принадлежность одного образа другому (точка лежит на прямой или, что то же самое, прямая проходит через точку). Две аксиомы гласят, что два различных образа одного рода принадлежат одному, и только одному образу другого рода. Остальные четыре аксиомы для нас несущественны, за исключением того, что они симметричны относительно обоих

родов объектов; они гласят: если три образа одного рода принадлежат одному образу другого, то среди образов первого, для которых справедливо то же самое, есть один однозначно выделенный, который гармонически сопряжен с первыми тремя. Безразлично, что именно это означает, существенно лишь, что в результате дополнения четвертым гармоническим каждое из этих четырех является четвертым гармоническим для трех остальных. Наконец, если четыре образа второго рода, принадлежащие одному образу

первого рода, гармонически сопряжены, а пятый образ второго рода не принадлежит упомянутому выше образу первого рода, то четыре образа первого рода, принадлежащие четырем точкам пучка и пятому образу второго рода, также образуют гармоническую четверку образов. Эти предложения легче понять, если вместо образов первого рода говорить прямые, а вместо второго — точки или наоборот. Вследствие полной симметрии всех аксиом можно в каждом правильно выведенном предложении всюду поменять местами слова точка и

прямая и получить снова предложение, т. е. утверждение, логически вытекающее из аксиом, так называемое двойственное. Наглядные картины, отвечающие таким парам предложений, вообще говоря, совершенно различны, многие из этих предложений были найдены. в разное время различными исследователями независимо друг от друга, когда дуальность не была еще известна, например, теоремы Паскаля и Бриансона.

Оставим теперь только что обсуждавшийся геометрический

пример, являющийся третьим замечанием на тему о том, что при чувственном восприятии в первую очередь, а затем и при мысленных построениях также подходят к структуре, а не к строительным камням и что надежное понимание возможно в лучшем случае о первом, а не о втором. Далее следует четвертое замечание.

Еще и сегодня кое-где, особенно в учебниках для старших классов — тем более, что авторы не стремятся к большой точности — бродит как древнее привидение

легенда о том, что в нашем чувственно воспринимаемом мире, который для этой цели проще всего представлять себе реально существующим, можно легко и удобно различать два рода атрибутов — первичные и вторичные. Первые касаются образа, относительного положения и движения, вторые же — всего остального. В отношении первых мы можем полностью доверять своим органам чувств, а остальное — свободная примесь, которую мы добавляем от себя. Думают, говоря наглядно, о чем-то подобном контурным картинкам, которые

дети, каждый на свой манер,
закрашивают акварельными
красками.

Еще Лейбниц выступал против
этого предрассудка, но он оказался
живучим. Нет смысла пытаться
доказывать, что он ложен, т. е. это
не проходит в той же степени, как
нельзя опровергнуть
предположение, что где-то между
внегалактическими туманностями
существует замкнутое
пространство, где
человекоподобные существа,
только с крыльями, в длинных
белых одеяниях со шлейфами

волшебной музыцируют и изображают рай[28]. В обоих случаях бремя доказательства ложится на защитников фантастического утверждения. Невозможно усмотреть причину, по которой наглядные представления, связанные с образом и кинематикой, должны быть сильнее гарантированы в «действительно существующем» мире тел, чем цветовые, термические, звуковые и т. д. В нашем мире восприятий действительного наличествуют и те, и другие. Взаимное понимание

во всех случаях, вероятно, ограничивается структурами.

Как, однако, может быть понята более или менее совершенная тождественность структур, которую наше окружение имеет, по-видимому, почти для всех людей, даже в большей степени и для животных? Так, например, перед внезапно появляющимся перед всадником пламенем или обрывом лошадь так же, как и всадник, испуганно шарахается назад. И это только один из тысячи примеров, которые можно было бы поставить в один ряд. Должен ли

тот, кто предпочитает сводить столь полное взаимное согласие не на мир тел, как на общую его причину, рассматривать это просто как волшебное событие, которое мы снова и снова обнаруживаем с безошибочной достоверностью, если отвлечься от галлюцинаций и снов?

Нет, ни в коем случае.

Часть 2.

Глава четвертая. УЧЕНИЕ О ТОЖДЕСТВЕ: СВЕТ И ТЕНИ

Вначале необходимо, пожалуй, заметить, что рассуждения этой главы мы не можем считать логически столь же строгими, как все обсуждавшееся до сих пор, зато они намного важнее этически. Откровенно признаюсь в том, что, начиная с этого момента, я не только не буду избегать метафизики и даже мистики, но что они будут играть во всем последующем существенную роль. Я знаю, наверное, что уже одно это

признание вызовет сильное нападение со стороны рационалистов, т. е. со стороны большого числа моих коллег-естествоиспытателей, которые в лучшем случае скажут мне с дружески-иронической усмешкой: знаешь, дорогой, оставь нас с этим, потому что нам значительно милее все-таки исключительно близлежащее предположение о существовании материального мира, как причины наших общих переживаний. Эта гипотеза безыскусна, делается каждым совершенно наивно и не содержит ничего мистического или

метафизического. Против этого ожидаемого нападения моя защита не менее дружеский превентивный удар, а именно: только что приведенное, выделенное утверждение ложно. В предыдущих главах я пытался показать, во-первых, что гипотеза материального мира как причины далеко идущей общности наших переживаний не гарантирует эту общность, что последняя, напротив, даже и с такой гипотезой должна быть примыслена, как и без нее; во-вторых, я повторно подчеркиваю, — это, собственно говоря,

невозможно и не нужно доказывать — что содержащаяся в этой гипотезе причинная связь между материальным миром и нашими переживаниями, а именно: при чувственном переживании и при волевом акте, *toto genere*[29] отлична от того причинного отношения, которое в естествознании продолжает с полным правом играть практически важную роль даже после того, как мы вместе с Джорджем Беркли (1685) и еще несколько яснее с Дэвидом Юмом (1711) узнали, что оно не является действительно наблюдаемым, что

оно наблюдается не как *propter hoc*[30], но лишь как *post hoc*[31]. Ввиду первой причины гипотеза материального мира метафизична потому, что ей не соответствует вообще ничего доступного наблюдению. По второй же причине — это целиком мистическая идея, потому что укоренившаяся во многих опытах взаимосвязь двух объектов (именно действия и причины) постоянно применяется к паре объектов, из которых лишь один (именно чувственное восприятие, соответственно — волевой акт) действительно воспринимается

или наблюдается, другой же {материальная причина, соответственно — материальный результат), напротив, констатируется, к сожалению, лишь в воображении все-таки как post hoc.

Поэтому я не постесняюсь прямо и открыто объявить мистико-метафизической гипотезу реально существующего внешнего мира, предназначенную для объяснения того, что все мы в конце концов обнаруживаем себя в одном и том же окружении. Тем не менее желающий может

пользоваться ею. Она удобна, хотя несколько наивна и многое при этом теряется. Но ни в коем случае не имеет он права клеймить другие точки зрения как метафизические или мистические, полагая, что его собственная свободна от этих «слабостей».

В новое время первой точкой зрения иного рода явилось учение Лейбница о монадах. Насколько я понимаю, он пытался обосновать уже довольно часто упоминавшуюся далеко идущую общность переживаний посредством predetermined, т.

е. с самого начала установленной, гармонии, иначе говоря, существенного тождества событий во всех монадах, которые в остальном ни в коем случае не оказывают какого-либо воздействия друг на друга. Монады «не имеют окон» — так звучит ставшее обычным выражение. Различные монады, человеческие, звериные и даже одна божественная, отличаются друг от друга только более или менее расплывчатым или отчетливым видом, причем в них разыгрывается одинаковый ход событий. Я не упомянул бы вовсе

об этой попытке, которая по своей наивности, в отношении того, что таким образом возможно что-то объяснить, превосходит материалистическую, если бы не натолкнулся на заслуживающее внимания замечание по этому поводу у Фридриха Теодора Фишера (Kritische Gänge, II, p. 249. Verlag der Weipen Bücher, 2 Aufl. Leipzig, 1914). Фишер пишет там буквально следующее: «...так как существует лишь одна монада, дух, который находится во всем, монада не обладает множественностью. Разумеется, Лейбниц нарушил замечательную

последовательность своей идеи тем, что в вопиющем противоречии с понятием монады, как представляемом духовном единстве, поставил в один ряд множество монад, подобно мертвым вещам, между которыми нет никакого сообщения, но что нам до этого?» Эта фраза приведена в эпикритике «Analyse von Faust und anderem, von H. Diintzer. Koln, 1836».

«Существует всего одна монада». Но что остается тогда от всей монадологии? Философия веданты, быть может, более

молодая, но, несомненно, независимая от Парменида. Говоря кратко, она придерживается того мнения, что все мы — живые существа, потому связаны друг с другом, что все мы, собственно говоря, являемся сторонами или аспектами одного-единственного существования, которое в западной терминологии следовало бы, может быть, называть Богом, в то время как в Упанишадах его называют Брахманом.

Одно созданное в Индии сравнение представляет собой множество почти одинаковых

изображений, которое создает богато ограненный алмаз от одного предмета, например Солнца. Мы признались уже в том, что здесь речь пойдет не о чем-то логически дедуцируемом, а о мистической метафизике совершенно подобно тому, как и при допущении реального мира вещей. Чаше говорят — «внешний мир», но ведь и наше собственное тело тоже принадлежит ему.

В изложении Вед эта мысль заглушается обильно разросшимися ссылками на фантастический брахмановский

жертвенный ритуал и нелепыми суевериями, что можно проследить по лучшему источнику на немецком языке (Deussen P. Sechzig Upanischads des Veda, aus dem Sanskrit iibersetzt. Leipzig Brockhaus, 1921; он же. Die Gemeinlehre des Veda. Ausgewalte Texte. 5. Aufl. Там же. 1919 г.). Больше мы здесь не будем об этом говорить. Но, отвлекшись от ритуала, мне представляется, что индийские мыслители извлекли из учения о тождестве два очень серьезных следствия: этическое и эсхатологическое. Первое мы охотно одобряем, в то время как

второе должны будем, пожалуй,
отклонить.

Этическое содержится в
приведенном ниже немецком
метрическом переводе, который
можно найти у Шопенгауэра, но я
не уверен, восходит ли оно к
Веданте или Бхагавадгите, которая
пропитана тем же духом:

Die cine hohste Gotlheit

In alien Wesen stehend

Und lebend, wenn sie sterben,

Wer diese sieht, ist sehend.

Denn weleher allerorts den höchsten

Gott gefunden, Der Mann wird
durch sich selbst sich

selber nicht verwunden[32]

ИЛИ НА ЛАТЫНИ:

Qui videt ut cunetis animantibus
insidem idem

Rex et dum pereunt, hanc perit, ille
videt.

Nolct cnim sese dum cernit in
omnibus ipsum

Ipse nocere sibi. Qua via summa
palet.

(Оба отрывка приводятся по
памяти.) Эти прекрасные слова не

нуждаются в комментариях. Они восхваляют бережное отношение не только к людям, но и ко всем живым существам, как наивысшую достижимую цель, пожалуй, совершенно в духе «Благоговения перед жизнью» Альберта Швейцера. То обстоятельство, что эта высшая цель недостижима без намеренно вызванной своей и чужой голодной смерти, часто подчеркивал сам Швейцер. Он, насколько я знаю, был первым, кто включил мир растений в общий этический закон и не удовлетворился; подобно многим, лишь вегетарианством, о котором

часто замечают, кроме того, «что оно в нашем суровом климате не может быть проведено без вреда для здоровья». Даже сам великий Гаутама Будда поведал нам, что он не испытывал никакого затруднения, собираясь однажды с друзьями принять участие в уже приготовленной трапезе, потому что животное, чье мясо они ели, первоначально было убито не для него. Что ни говори, но, по крайней мере, честность такого заявления заслуживает высокой оценки. Очень многие из нас отказались бы, вероятно, от мясной пищи, если бы ее

употребление было обусловлено тем, что каждый в порядке очередности должен был бы сам забить теленка, свинью, быка, дичь, рыбу или птицу, если он желает это есть или подавать на стол для своих друзей. То, что для хинди профессиональный охотник или рыбак принадлежат всего лишь к ближайшей после «неприкасаемых» более высокой касте, можно считать понятным, хотя и лицемерно-бессмысленным, поскольку хинди не воздерживаются от мясной пищи (буддист тоже, но для него не существует каст). Мы не хотим

говорить здесь о том, какой приговор в связи с этим ожидает тех, кто, к своему удовольствию, рыбачат или охотятся, оказываясь иногда перед лицом мучительного истощения и ужасающего смертельного страха своих маленьких жертв, мы не хотим говорить и о жестокости продолжающегося неделями «откармливания» гусей, благодаря которому гусиная печень болезненно разрастается до невероятных размеров и оттого приобретает бесподобный вкус; также мы не имеем в виду детально исследовать право, на

основании которого в странах, где с этим спокойно мирятся, не запрещается держать пари о «посредневековому жестоких» боях быков, жестокость которых по отношению к быку очевидна в меньшей степени, чем, судя по тому, что я слышал, из-за несчастных старых лошадей. Но это, повторяю, не более жестоко, чем охота или откармливание гусей. Впрочем, не более жестоко также, чем длительные корабельные перевозки в узких и тесных загонах отслуживших свое лошадей из стран, где не практикуются бои быков, в другие

места, где переработка их в мясные консервы по непонятным мне причинам приносит высокую прибыль. Как поступают в этих случаях с трупами наиболее слабых и старых животных, погибающих в своих загонах при качке на волне и лишенных человеческой помощи, является секретом фирмы.

Все это было о первом, этическом, следствии, которое в индийской философии выводится из недоказуемого тезиса, что все мы, живые существа, являемся лишь различными сторонами или

асpekтами одного-единственного существования, следствием, которое мы, как я уже говорил, охотно принимаем вместе с Альбертом Швейцером.

Другое следствие — эсхатологическое, с которым мы постоянно встречаемся, проясняется в достаточной степени следующим четверостишием (Брахадараньяка Упанишад 4, 4, 19), приводимым здесь в переводе на немецкий:

Im Gcistc sollen merken sic:

Nicht ist hier Veilheit irgendwic;

Von Tod zu Tode wird verstrickt

Wer eine Vielheil hier erblickt[33].

К этому необходимы некоторые разъяснения. Во-первых, в основе брахманизма лежит глубоко укоренившаяся вера в странствие душ, которая распространяется гораздо шире, чем принято думать в среде тех, кто родился в окружении, последовательно ее отвергающем. Точно так же в

противоречии со всеми традициями, в которых выросли мы, взгляд брахманиста на «жизнь после смерти» не таков, как наше традиционное успокоение, а источник забот. Его роль в мире и судьба при ближайшем рождении считаются определяемыми его поведением во всех предыдущих существованиях (карма)[34]. Такой род «справедливости», хотя и имеет определенное сходство с пониманием ее в других религиях, но в сравнении, например, с христианством приводит к определенному безразличию, чтобы не сказать равнодушию,

относительно того факта, что «жизненные блага распределены неравномерно». Она явно аристократична и не знает ничего о «равенстве всех людей перед Богом». Если ты родился брамином, что, впрочем, совсем не означает состоятельным или могучим, то этот почетный ранг, даже если ты беден и служишь другому брамину, вознаграждает тебя за твои заслуги в прошлых рождениях; если же ты «неприкасаемый» или даже полевой заяц, то ты сам себе это предназначил, это плата за зло, которое ты совершил в прежнем

существовании. Это вера, по которой мир справедлив, несмотря на явную несправедливость. Здесь можно усмотреть определенное сходство с феодальным дворянством, где, однако, вместо прежних рождений выступают предыдущие поколения. Ты граф или князь потому, что один из твоих предков имел заслуги перед королем и отечеством и был возведен в благородное звание и потому, что его наследники, вплоть до тебя, не провинились настолько, чтобы король лишил их дворянства; да, наверное, в своем преимущественном они

действительно имели большие заслуги, для чего у обыкновенного гражданина повод появляется очень редко. Каким, однако, образом несчастная жаба при обычном своем поведении сможет пробить себе дорогу к зайцу, а он по меньшей мере к неприкасаемому — это вопрос в себе.

Все это лишь подготовительный комментарий, не имеющий отношения к тому, что содержится в приведенном выше четверостишии. Как я уже сказал, вечный цикл, состоящий из

рождения, смерти и рождения
вновь — источник забот для
исповедующего брахманизм. Цель
состоит в том, чтобы этот цикл
оборвать и через «избавление»
перейти в состояние, которое в
Упанишадах сравнивается с
глубоким сном без сновидений,
называемым буддистами нирваной,
а христианами и мусульманами —
пребыванием в Боге или
единением с ним. Сравнение со
сном без сновидений заставляет
задуматься: чем отличается он,
собственно говоря, от «со смертью
кончается все» Лукреция Кара? По
моему мнению, относительно

которого я не могу сказать, было ли оно высказано кем-нибудь в древнейших текстах, в основе лежит чувство глубокого счастья, настоящего блаженства, с которым просыпается с новыми силами после долгого глубокого сна без сновидений очень уставший накануне молодой человек. Он чувствует и знает, наверное, что он не только заснул; он уверен, что многие часы должны были пройти с тех пор, часы, о которых он ничего не может сказать, о которых он ничего не помнит, кроме одного лишь определенного

чувства, что ему было очень хорошо.

И, наконец, о значении приведенных выше четырех строк. «Не существует множественности никоим образом» — это само метафизически-метафорическое учение Упанишад: множественность чувствующих существ всего лишь видимость, в действительности все они лишь различные аспекты единого бытия. Истинная озабоченность эсхатологией — в третьей и четвертой строчках: неперенное условие спасения, т. е. окончания

вечного круговорота рождений и смертей в том, что следует действительно проникнуться этой верой, понять ее, согласиться с нею душой, а не на словах только.

Это действительно внушает опасения. Это «спасение через познание» еще хуже или по меньшей мере столь же плохо, как и лютеранское «спасение через веру», в котором последняя не подчинена воле, или августиновское «спасение через божественную благодать», где тот, кого это касается, никак не может ни способствовать спасению, ни

избежать его. С ними обоими спасение познанием веданты состоит в ближайшем родстве. С точки зрения того, кто считает Упанишады истиной, спасение через познание почти наихудшее, поскольку оно имеет предпосылками не только интеллектуальное познание, но и досуг для размышлений. Я утверждаю, что это еще хуже, чем простая лотерея августиновской божественной благодати или лютеровского спасения через веру, которое не особенно значительно отличается от первого, так как и вера тоже возникает не по

собственным заслугам, а через милость Божию. Познание же даже подлинно логической истины — а здесь речь идет не о ней, а о мистически-метафизическом учении — не есть простая лотерея, а игра с фальшивыми костями: преимущество имеет не только умный, но и богатый, поскольку он может предаваться метафизическим спекуляциям, не отвлекаясь на удовлетворение насущных жизненных потребностей. С другой стороны, однако, учение о спасении веданты несравненно более милосердно, поскольку перспектива на

спасение не ограничивается короткой жизнью индивидуума. Если не удалось, то круговорот продолжается и на то, как он продолжится, собственное поведение имеет решающее влияние. Если угодно, можно думать, что через «добрые дела» в конце концов будешь наделен таким жизненным путем, на котором ум, досуг и честные услуги приведут к пониманию учения о единстве и тем самым к спасению.

Привкус «единоспасающего» все-таки остается, но он, по-видимому, преследует все подлинные

религии, как хорошие, так и плохие.

Тому, кто нынче желает освоить веданту, следует посоветовать прежде всего, чтобы он удалил оттуда идею о переселении душ и не только потому, что христианство отказалось от нее, а потому, во-первых, что в наше время оно значительно менее распространено, чем в этом уверяют нас книги, во-вторых, мы в такой же степени наследники эллинизма, как и нагорной проповеди, первоначальный текст которой, впрочем, греческий, и не

классический греческий
Аристотеля и Плутарха, а
превосходный простой народный
язык, который после походов
Александра Великого оставался в
течение столетий, по-видимому,
общим языком Восточного
Средиземноморья и Ближнего
Востока. Более раннему
эллинизму ни в коем случае не
была чужда идея переселения душ,
что известно из пифагорейских
преданий. Эта идея становится,
однако, логически бессмысленной,
если при этом имеют в виду
полное стирание воспоминаний. И
действительно, такому

выдающемуся человеку, как Пифагор, приписывали фантастическую способность вспоминать свои прежние рождения, и он будто бы даже доказывал это, узнавая предметы и места, в которых никогда не бывал! По-видимому, люди чувствовали, что частное утверждение о тождестве теряет всякую опору в применении к личности, если не демонстрировать, что хотя бы случайно возможны воспоминания о прошлых существованиях. При этом на ум приходит многое: красивое представление об обучении, развитое Платоном и

Сократом, как о пробуждении ранее известного, но позабытого; родственное этому представление о важной роли, которую в современной эволюционной теории и психологии животных играет родовая память. В связи с этим я не могу отказать себе в том, чтобы напомнить обе книги Рихарда Земона: *Die Mneme*, Leipzig, 1904; *Die Mnemische Empfindungen*, Leipzig 1909; в части биологической Земону возражают, будто не много ценного в том, что он пытается сводить многие явления к аналогии с памятью, поскольку она сама и есть как раз

наименее понятное биологическое явление. Это похоже на то, как если бы кто-нибудь сказал, будто мало смысла установить, что все ядра построены из протонов и нейтронов именно потому, что об этих частицах мы очень много не знаем.

Во всяком случае представляется странным, что современный человек, которому очень плохо живется (или ныне живущая жаба) наказан за злодеяния умерших преступников, о которых он (соответственно она) ничего не помнит. Поэтому

необходимо отказаться от такого частного учения о тождестве вместе с его аристократическими замашками. Но вместе с тем исчезает и мнимая справедливость хода вещей, которую теперь уже не удастся спасти. Сохраняется, однако, прекрасная, приведенная выше в переводах на латынь и немецкий, мысль о единстве или о безусловной солидарности, всего живого, выраженная Шопенгауэром словами: было утешение в жизни и в смерти утешение будет. Вместе с тем эта мысль выполняет, хотя и не менее мистически и метафизически,

функцию внешнего мира, мыслимого в качестве действительно существующего. Поскольку представление о таком мире несомненно присутствует в нашем сознании, мысль о нем остается интересной, однако она не обладает никакой этической ценностью.

Глава пятая. ДВА ПОВОДА К УДИВЛЕНИЮ. ЭРЗАЦЭТИКА

Подведем предварительные итоги. Налицо два замечательных результата проведенного нами

анализа, и каждый из них в своем роде удивителен. Эти два результата важно четко различать, так как случается, что они обозначаются очень сходными словами и потому легко перепутываются. Если предлагаемое исследование вообще содержит нечто новое, то это в первую очередь указание на необходимость такого различия.

Удивительно, во-первых, что, вопреки ни одним здравомыслящим человеком не отрицаемой безусловной непроницаемой разделённости

моей сферы сознания и любой другой, неизбежно обнаруживается, тем не менее, далеко идущее структурное соответствие части наших рядов переживаний, которые мы называем внешними: все мы живем в одном и том же мире. Это соответствие устанавливается благодаря возникновению и развитию общего языка и стимулируется, как это было бегло очерчено выше, стремлением к подражанию. Это явление мы постоянно снова и снова наблюдаем у маленьких детей и поэтому можем не сомневаться в

нем. Напротив, возникает даже опасность, что ввиду его обыденности наше удивление притупится.

От удивительного такого рода, когда, несмотря на абсолютную разделённость сфер сознания, мы, и именно не высокоучёные и глубокие мыслители, а часто дети дошкольного возраста, убеждаемся в их общности, следует отличать то, что, вопреки разделению сфер восприятия, далеко идущая согласованность или параллелизм их так называемых внешних частей вообще существует. Как возникает

последний? Сами ли мы вызываем его описанным в предыдущем абзаце путем? Вижу ли я во сне тебя и все остальное так искусно, что наши сны совпадают? Думать так было бы неумной игрой со словами.

Итак, речь идет действительно о двух удивительных результатах. Первый, как мне кажется, допускает рациональное научное понимание, если следовать онтогенетически и, насколько это возможно, филогенетически возникновению языкового взаимопонимания. Если кто-

нибудь скажет, что при этом предполагается и второе положение вещей, то я не буду возражать. Для меня существенно, что второе положение непостижимо рационально. Его понимание возможно лишь на основании двух иррационально-мистических гипотез, а именно: 1) так называемой гипотезы реального внешнего мира или 2) предположения, что мы просто являемся различными аспектами единого. Я не хочу спорить с теми, кому кажется, что оба предположения вышли из одного и того же корня: это пантеизм, где

единое называется Бог-Природа. Но тогда следует признать по праву метафизический характер и первой гипотезы тоже, т. е. метафизический характер гипотезы о реальном внешнем мире, и мы, таким образом, очень далеко уходим от вульгарного материализма. Собственно этическое следствие легче всего выводится из второй формулировки — учения о тождестве.

Следует добавить, что учение о тождестве выглядит еще более мистическим и метафизичным. С

его помощью еще труднее понять возникновение весьма различных степеней общности переживаний. Поясним это примерами. Предположим, что я живу на Парковой, 6. Мой хороший друг живет рядом, Парковая, 8. Мы встречаемся три или четыре раза в неделю, совершаем совместные прогулки, путешествуем и так далее. (К сожалению, это и все последующее всего лишь вымысел.) Поэтому мы действительно живем в высшей степени «в одном и том же мире». В меньшей степени это справедливо по отношению ко мне

и к другому моему хорошему другу
в Лос-Анджелесе,
интересующемуся теми же
вещами, и по отношению ко мне и
моему превосходному
домоправителю на Парковой, 6,
банковскому служащему в
отставке, интересующемуся в
основном марками и футбольным
тотализатором. Но и с преданным
мне пуделем, регулярно
сопровождающим меня на
прогулки, которым он каждый раз
радуется с дурацким лаем и
высокими прыжками, многое
связывает эмоционально, потому
что мне гораздо приятнее

прогуливаться с ним, чем в одиночестве. Наконец, идут случаи: я и Дэвид Юм, я и Фридрих Шиллер, я и Демокрит из Абдерры, я и Ксенофан. Гипотеза реального внешнего мира объясняет весьма естественно, по крайней мере некоторые из этих очень различных степеней общности, поскольку она заключает в себе реальность пространства и времени, или, если угодно, заключает в себе пространство-время. Если же исходить из учения о тождестве, то необходимы основательные размышления, чтобы сделать

понятными эти различия, размышления, которые по-настоящему, пожалуй, еще никем не проводились. Но все это представляется мне маловажным в сравнении с неизмеримо более высоким этическим содержанием и в то же время с более глубоким религиозным утешением, которые обеспечивает учение о тождестве перед лицом нашей скоротечной жизни. И того и другого не хватает материализму как таковому, хотя и существует много людей, убедивших себя в том, что астрономическая мысленная картина мириад солнц с

заселенными, быть может, планетами, множества галактик с мириадами таких солнц каждая, наконец Вселенная, скорее всего, замкнутая, дает некоторого рода этически и религиозно утешающую демонстрацию, подобную той, которую неопиcуемый вид звездного неба являет в ясную звездную ночь человеческому взору. Для меня лично все это видимость, пусть даже в высшей степени закономерная и интересная. С моей вечной частью, выражаясь в истинно средневековой манере,

это имеет мало общего. Но это вопрос взглядов.

Далее, следует добавить, что уже одна только общность мира, в котором, как это обычно метафизически понимают, мы живем, приводит к роду этики, которую я позволю себе называть эрзацэтикой. Опыт показывает, что из-за этой общности мира мы можем сделать друг другу очень больно психически, а в дальнейшем и физически, далее, что мы, с другой стороны, можем помогать друг другу и друг друга радовать и что происходит это

лишь в тех случаях, когда мы друг друга слушаем. Выясняется, в частности, что если устанавливается взаимопонимание, то люди охотно разговаривают и иногда даже охотно выслушивают ответы. Самое страшное наказание — длительное одиночное заключение без книги, дающей возможность как бы слушать писателя, и без письменных принадлежностей, дающих возможность обратиться к будущим, как минимум, читателям. Вообще говоря, каждый более счастлив в том случае, когда все, кто с ним общается, относятся к

нему хорошо, если хотят, чтобы с его стороны наблюдалось то же самое. Наоборот, мало радости от того, чтобы мучить другого, если существует опасность, что то же самое сделает с тобой некто третий, более сильный, или даже сама высшая сила. Поскольку при всем том можно рассчитывать на естественную взаимность, то действуют, не говоря об исключениях, чисто рассудочные соображения в пользу подобающего поведения людей по отношению друг к другу, что и создает видимость всеобщего преимущественно этического

поведения. Такая эрзацэтика зафиксирована в некоторых народных пословицах, например: «Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu» или «Wohltun trägt Zinsen», наконец, «Mit der Hiite in der Hand kommt man durch das Land»[35]. Последняя не намного лучше, так как она явно не дотягивает до призыва против лицемерной покорности каждому и в первую очередь влиятельным лицам. Тот, кто, обратившись к знаменитейшему, быть может, роману мировой литературы, перечитает речи Санчо Панса, или подобные

системы народных сентенций, несомненно умножит число примеров эрзацэтики, которую можно было бы назвать утилитарной моралью. Чтобы полностью оценить любезный нам комизм столь длинных речей милого нашему сердцу оруженосца, совершенно недостаточно, разумеется, овладеть языком. Помимо этого, необходимо еще знакомство с сокровищницей испанских поговорок и пословиц той эпохи (от трехсот до четырехсот лет тому назад) в современном переложении, которая в то время

должна была быть, да и теперь еще, возможно, остается чрезвычайно богатой. При более близком знакомстве, что здесь для нас исключено, можно было бы узнать в этом великолепном Санчо, битком набитом утилитарными поговорками, кроме того, трусливом и исполненном страха перед не такими уж ужасными процедурами, как побои, тем не менее, молодца, готового, хоть и не без вопля и плача, дать себя колесовать и посадить на кол за своего господина, если этого совершенно невозможно избежать. Поэтому мы

сделаем лучше, если не будем считать слишком ничтожной эрзацмораль, вытекающую из общепринятого представления о реальном внешнем мире, другом «Я», похожем на собственное, и т. д. Лучше такая этика, чем никакой вообще. Но нам представляется благороднее та, что содержится в нескольких стихотворных строчках на с. 87 в немецком переводе и на латыни и описанная как утешение в жизни и смерти Артуром Шопенгауэром, бедным пессимистом. Совершенно несущественно, следовал ли в жизни сам Шопенгауэр этой

высокой этике. Пресловутый дневник «obiit anus, obiit onus»[36] свидетельствует об обратном (речь идет о прислуживавшей ему женщине, которую он в припадке гнева сбросил с лестницы и затем должен был выплачивать ей ежемесячную ренту). Мне было бы приятнее вступить в личный контакт с Санчо — так как он был порядочным малым — чем с Шопенгауэром. Но его книги хороши, хотя и прорывается в них порой суеверное безумие. Однако, как учит нас и более позднее развитие старого и прекрасного учения о тождестве в самой

Индии, такова уж, кажется, печальная судьба этого учения, что слишком легко открывает оно дверь бессмысленному вздору, стоит тому лишь скромно постучаться. Правда, «чудо — любимое дитя веры», и чем тоньше

Перевод с немецкого Р. В. Смирнова

[1] Суди не выше сапога.

[2] Земон Рихард (1859—1918) —немецкий зоолог, специалист по эмбриологии иглокожих и

позвоночных. Известен также своими работами по проблемам теоретической биологии.

[1] Шредингер Э. Избранные труды по квантовой механике. М., 1976. С. 339.

[2] Цит. по: Шредингер Э. Новые пути в физике. М., 1971. С. 384.

[3] Шредингер Э. Избранные труды... С. 232.

[4] Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики. 1-е изд. М., 1947; 2-е изд. М., 1972.

[5] Шредингер Э. Избранные труды... С. 276.

[6] Суди не выше сапога.

[7] Земон Рихард (1859—1918) —немецкий зоолог, специалист по эмбриологии иглокожих и позвоночных. Известен также своими работами по проблемам теоретической биологии.

[8] Чем-то лучшим, нежели слова.

[9] Эпикур.

[10] Шопенгауэр — Лейбниц.

[11] Канта!

[12] Понятие, не допускающее множественного числа, букв. единственное только (лат.).— Прим. перев.

[13] Государство это

[14] Реакция на раздражение, в противоположность обычной физической реакции, имеет ту особенность, что не существует никакого простого количественного соотношения между причиной и действием, как и тем, что вообще наступают действия, которые не могут быть поняты непосредственно по внешнему состоянию реагирующей системы, но должны быть связаны с внешне незаметной внутренней структурой. Все эти

отличительные черты характерны для процессов в реле.

[15] Земон призывает к этому следующими словами: «Конечно, должны были бы физики и химики стремиться, с другой стороны, к этой же цели и исследовать, можно ли и в какой степени подыскать нечто подобное энграфии и экфории в неорганической области. До сих пор в этом направлении ничего существенного не сделано» («Mneme», 2 Aufl. S: 385).

[16] Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957

[17] Языковая ошибка, придающая фразе противоречивый характер.

[18] Жизненная сила.

[19] Особого рода.

[20] Шелестеть, шептать, выть.

[21] Закрепленный и свободный
(англ.)

[22] Твердый и мягкий (нем.).

[23] Порочный круг (англ.).

[24] Порочный круг (лат.)..

[25] Поднимать ножку (австр.
разговори.)

[26] Задние лапы, одну из
которых поднимает самец, чтобы

помочиться (исп.).

[27] Подразумевается, что два луча и только они падают одновременно на одну и ту же матовую поверхность.

[28] Подобное этому представление об олимпийских богах принадлежит Лукрецию, а может быть, было высказано еще Эпикуром.

[29] Целиком, букв. всем родом.

[30] По причине этого

[31] После этого.

[32] Единственное высочайшее Божество пребывает во всех существах и продолжает жить, когда они умирают. Кто это видит, тот зряч, потому что человек, нашедший высшего Бога всюду, сам себя не ранит.

[33] В душе должны они заметить: не существует множественности никоим

образом; смертями опутан будет тот, кто усматривает здесь множественность.

[34] Параллель этому можно найти в Риме первого столетия до н. э. Страх перед кошмарными муками в преисподней распространился настолько, что Лукреций Кар в своей знаменитой дидактической поэме попытался сообщить утешительную уверенность: со смертью действительно все кончается.

[35] Не делай никому другому того, чего ты не желаешь себе самому; добро приносит дивиденды; со шляпой н руке нею страну пройдешь.

[36] «Старуха умирает, бремя спадает».